

Ляссе для мёртвого поэта

Михаил
Виноградов



Товарищество
Виноградова

Михаил Виноградов

Ляссе для мёртвого поэта

«Автор»

2026

Виноградов М.

Ляссе для мёртвого поэта / М. Виноградов — «Автор», 2026

В руки к петербургскому издателю Платону Рябушинскому попадает таинственная книга, над которой находят мёртвым известного коллекционера Льва Гриневича. Герой начинает собственное расследование.

© Виноградов М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Ляссе на пустой странице	5
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Михаил Виноградов

Ляссе для мёртвого поэта

Глава 1. Ляссе на пустой странице

Платон Михайлович Рябушинский проснулся оттого, что во сне был счастлив.

Лучше бы свело ногу. Или руку. Или голову. Пробуждение от счастья — худшее из пробуждений. Во сне она ещё не ушла, в постели пахло сыром и её волосами, она смеялась над чем-то, чего теперь, наяву, он никак не мог вспомнить. От невозможности вспомнить, над чем же она так смеялась, ему стало так пусто, как будто из жизни вынули не Женю, а какой-то внутренний орган, без которого, оказалось, вполне можно жить. Только незачем.

И, самое страшное, во сне она читала ему. Читала ту самую, бесконечную книгу про Экзюпери. Восемьсот с лишним страниц, мелкий шрифт, Франция, «Аэропосталь», ночные почтовые рейсы над Пиренеями, пилоты, которые уходили в грозу и не возвращались, и кто-то один непременно ждал их на земле у радиостанции, до рассвета, до последней капли керосина в баках. Женя читала про то, как Экзюпери, разбившись в ливийской пустыне, четверо суток шёл без воды и видел миражи, — читала немного охрипшим к ночи голосом, и Платон засыпал не на словах, а на самом тепле её голоса.

Он полежал, разглядывая трещину на потолке, которую Женя называла «дельтой Невы», а теперь называть было некому. Потом нащупал очки — с ними комната обрела резкость: книги, книги, книги. Они стояли на полках, лежали на подоконнике, на комод, где прежде стояли её духи. Несколько тысяч чужих жизней, чужих страстей, чужих счастливых веранд — кирпичики мироздания.

Сорок два. По Данте — уже далеко за середину. Тот заблудился в сумрачном лесу в тридцать пять, а Платон шёл своими тёмными чашами уже седьмой год и всё не мог понять, ведёт ли эта тропа хоть куда-нибудь, или он просто ходит кругами вокруг собственного рабочего стола.

Он встал, тяжело — за последнее время раздобрел, старые пиджаки жали в плечах, и это тоже было чьей-то насмешкой: тело толстело, а жизнь худела. На кухне поставил турку, и, пока кофе собирался с духом, поймал себя на том, что достаёт из шкафа две чашки. Постоял. Убрал одну обратно.

Зазвонил телефон. Думал, будильник.

— «Товарищество Рябушинского», — сказал он, называя издательство прежде себя. Этот приём он придумал двадцать лет назад для известного пивовара, а теперь бесстыдно присвоил обратно.

— Платон Михайлович. — Голос женский, надтреснутый. — Это Вера. Вера Гриневич.

И вот тут — странное дело — где-то под сердцем, там, где полгода было только тупо и пусто, вдруг что-то шевельнулось. Ещё не тревога. Ещё не беда. Просто ощущение, что тишина, в которой он тонул с той весны, впервые за долгое время чем-то нарушена.

Он не знал ещё, что через час будет стоять над раскрытой книгой с закладкой на пустой странице. Не знал, что старый Гриневич мёртв. Не знал, что с ним самим — не на странице, не с героем, а с ним, Платоном Рябушинским — начнёт наконец что-то происходить.

Он знал только, что кофе стынет, а сердце стучит. Стыдно было в этом признаться, но стучало оно от чего-то, подозрительно похожего на радость.

Дом Гриневича стоял на Васильевском, в глубине Второй линии, — приземистый доходный дом позапрошлого уже века, из тех, что помнят конку, керосин и первое электричество, встреченное жильцами как чудо и оскорбление разом. Платон поднимался медленно — во-первых, из-за одышки, во-вторых, потому что не спешил. Спешить было некуда, поздно было

спешить. Странно ведь спешить к смерти: да и в жизни его давно уже ничего не случилось настолько быстро, чтобы стоило за этим бежать.

На площадке между этажами он остановился и посмотрел под ноги. Метлахская плитка — синие и охряные ромбы, уложенные встык, без единого зазора. Сто с лишним лет, две революции, блокада, расселения, ремонты, капитализм, прозванный диким — а не выпало ни единого квадрата.

«Умели класть, — подумал он. — И плитку, и слова, и жизнь».

Ещё подумал, что дом как-то сумел сохранить все квадратики, а они с Женей ничего не сумели сохранить. Поймав себя на этой мысли, Платон поморщился. В последнее время он примерял всё на себя, как чужие пиджаки в подвальчике на Социалистической, и всякий раз выходило впору. Это, вероятно, называлось эгоизмом. А может просто одиночеством, которое, если приглядеться, то же самое.

Дверь открыла Вера. Бледная, прямая, с сухими глазами — Платон знал эту породу: такие плачут после того, как разъедутся гости, заперевшись в ванной и пустив воду, чтобы никто не слышал, хоть больше и некому было слышать. Она молча посторонила, он вошёл в квартиру, где пахло старой бумагой, восковой мастикой и — едва различимо — валокордином.

— Спасибо, что приехали, — сказала она. — Лёвочка вас любил. Говорил, вы последний, кто ещё читает то, что печатает.

Платон промолчал. Комплимент кольнул сильнее упрёка. Гриневич знал его деда, знал настоящую цену фамилии — и всякий раз, глядя на Платона, будто спрашивал молча: «Ну, а ты-то что сделал с этим наследством?» Ответа у Платона так и не было, а вопрос больше некому было задать.

Тело уже увезли. В библиотеке — большой комнате с единственным окном во двор-колодец — стоял тот особый беспорядок, что остаётся после внезапной смерти: сдвинутое кресло, опрокинутая рюмка, высохшая лужица чая на старом паркете, похожая очертаниями на Австралию из дореволюционного атласа. Платон остановился на пороге и, прежде чем смотреть на что-либо другое, посмотрел на книги.

Их было тысяч восемь, может, десять. Гриневич собирал прижизненные издания русских классиков — не ради денег, а из странной, почти еретической веры, что первое издание хранит в себе то, чего лишены все последующие. «Понимаете, Платоша, — говорил он (он один звал его так же, как Женя, и от этого всякий раз делалось не по себе), — когда Гоголь держал в руках первого Ревизора, он ещё не знал, чем всё кончится. И книга не знала. Она была невинна. А в поздних изданиях уже сидит вся будущая слава, все комментарии, все школьные сочинения про смех сквозь слёзы. Это уже не книги. Это надгробия. С них нечего взять».

Платон медленно обвёл глазами полки. Опять эти тысячи чужих жизней, а посередине — старик, умерший один, ночью, в кресле, найденный только к обеду.

«Вот так и я, — подумал он с тем холодком, что стал ему в последние месяцы почти привычен. — В окружении книг. Только у меня жены нет. Нет Веры».

Прозвучало горько. Он одёрнул себя. Не за этим приехал.

Подошёл к письменному столу. Там, в круге света от зелёной лампы, которую забыли погасить и которая горела всю ночь, как поминальная свечка, над мёртвым хозяином, лежала раскрытая книга.

И вот тут Платон Михайлович Рябушинский, сорока двух лет от роду, полноватый, в круглых очках, издатель, а вовсе не сыщик, впервые ощутил другой холодок — не привычный, жалостливый к самому себе, а новый, острый, — который потом будет сопровождать его всю эту историю до самого её горького конца.

Книга была раскрыта. Из неё, отмечая место, свисало ляссе — вшитая в корешок шёлковая закладка-ленточка, тонкая, выцветшего бордового цвета, какой становится на старых полотнах кровь, потемневшая под лаком.

Книга была заложена на пустой странице.

Платон стоял и смотрел, и что-то внутри него — старое, издательское, педантичное, то небольшое, во что он твёрдо верил, — отказывалось это принимать. Так ум грамотного человека отказывается принимать ошибку в сообщении, даже когда смысл насквозь ясен.

— Вера, — сказал он, не оборачиваясь. — Скажите-ка... Лев Соломонович — как он обращался с закладками?

— С закладками? — Она подошла ближе, недоумевающая, устало, как человек, которому нет никакого дела до пустяков в такой день.

— Куда он их клал, откладывая книгу.

Она пожала плечами.

— Как все. На то место, где остановился.

— Вот именно, — тихо, неожиданно и для себя самого заговорщицким тоном, сказал Платон. — Как все. На то место, где остановился.

Он снял очки, протёр их полкой пиджака — бессмысленный жест, ничего он этим не менял, просто нужно было занять руки, — снова надел.

Он вспомнил, как однажды взял у Гринвича почитать томик Тютчева и вернул, заложив место трамвайным билетом. Старик побелел. «Закладывать книгу билетом, — сказал он тогда с настоящим гневом, — всё равно что закладывать душу в ломбард. У книги есть только одно законное место для закладки — то, до которого дочитал честный человек. Всё прочее — насилие».

Лев Соломонович был большой педант. Хуже самого Платона, а это, видит бог, немало.

— Он был из тех, — сказал Платон вслух, больше себе, чем Вере, — кто ни за что, никогда не заложил бы книгу на пустой странице. Это как поставить точку посреди слова. Как похоронить человека без имени на кресте.

В комнате стало очень тихо. Даже двор-колодец, обыкновенно гулкий, притих, будто прислушивался.

— Что вы хотите сказать? — прошептала Вера.

Платон не ответил сразу. Он наклонился над книгой — грузно, придерживая рукой галстук, чтобы не задел страниц, — и вгляделся в титульный лист.

Холодок прошёл у него по спине снова, и на этот раз добрался до самого затылка.

На титуле значилось: «Стихотворения. С.-Петербургъ. 1837». Имени автора не было, но был год смерти Пушкина. Тот самый год, когда на Чёрной речке, как тогда думали, решилась судьба русской поэзии, — а на деле только началась её самая долгая и странная глава: посмертная, растянувшаяся до сего дня.

Платон знал наперечёт едва ли не все издания того года. Это он видел впервые в жизни.

Он выпрямился, чувствуя, как сердце — то самое, что давно стучало вяло и без интереса, как маятник в нежилом доме, — вдруг забилось часто, молодо, почти испуганно.

— Вера. — Голос его переменялся: стал сухим, деловым, каким он говорил разве что в типографии, принимая тираж. Он сам удивился этому голосу — не слышал его в себе больше года. — Кто продал вашему мужу эту книгу?

— Не знаю точно. Он купил её недели три назад. Был сам не свой от счастья — говорил, что это находка века, что обошёл всех этих снобов из аукционных домов, всех «экспертов». — Она произнесла слово с его интонацией, в кавычках, и даже покачала так же головой. — А потом... последние дни ходил мрачный. Запирался тут. Я думала — сердце. У него давно пошаливало.

«Сердце, — подумал Платон. — У всех у нас пошаливает сердце. Особенно когда начинаем дочитывать до конца».

Он смотрел на пустую страницу, заложённую бордовой лентой.

Пустая страница. Место, где нет текста. Место, где — если вдуматься — не может быть и лжи: солгать способно лишь напечатанное слово, а чистый лист невинен, как первое издание, как Гоголь, ещё не знающий финала.

«Он оставил сообщение, — понял вдруг Платон с той внезапной ясностью, что приходит редко и всегда некстати. — Старый лис. Он заложил ленту не там, где остановился. Он заложил её там, где правда».

Невидимый Лев Соломонович будто сказал ему: «Смотри, Платоша. Здесь пусто. Здесь нет текста. Здесь ложь — без слов».

— Вера, — сказал он, и голос почти не дрогнул. — Мне придётся забрать эту книгу. На несколько дней. Я верну, обещаю.

— Зачем? — Она смотрела на него с испугом, будто он вдруг заговорил на чужом языке.

Платон осторожно закрыл книгу. Переплёт скрипнул тем сухим, старческим скрипом, какой издают и старые книги, и старые люди. Потом взял её со стола обеими руками и прижал к груди. И сам не заметил, как прижал, — так прижимают к себе озябшего ребёнка или единственное, что удалось вынести из горящего дома.

— Затем, милая, — сказал он, — что Лев Соломонович, боюсь, умер вовсе не от сердца. А оттого, что прочёл эту книгу до конца. И понял, чем всё кончится.

На улицу он вышел уже под дождём — тихим, обстоятельным, петербургским, как никто на свете способным разделить с тобой утрату. Прижимая книгу к груди под пиджаком, чтобы не намочила, он пошёл к набережной — и вдруг поймал себя на стыдном, почти неприличном для такого дня чувстве.

Ему не было горько.

То есть Гриневича было жаль — по-настоящему, до кома в горле. Но под этой жалостью, глубже, там, где полгода были лишь пустота, да стынувшая на кухне вторая чашка, заворочалось что-то живое, тёплое, недозволенное.

Впервые за очень долгое время у него была цель. Не корректура, которую надо сдать, не тираж, который надо пристроить. Не пустой вечер, который надо как-нибудь дожить до сна. А настоящая, живая, опасная тайна — у которой, он это чувствовал всем своим отяжелевшим, вдруг проснувшимся телом, есть автор. И автор этот ещё жив.

Шагая под дождём, он понял наконец, отчего эта чужая книга с первой секунды так в него вцепилась — сильнее даже, чем смерть старика.

Она была дочитана до конца. Вся!

Гриневич дошёл до последней страницы — и умер. А у Платона дома, на полке, полгода стыла другая книга. Толстая, бесконечная, про лётчика. Заложённая картонкой от чая на том месте, где Экзюпери был ещё жив, ещё не поднялся в свой последний рейс над морем, из которого не вернулся и с которого его будут искать полвека, пока не выловят помятый браслет с его именем. Две книги, две закладки. Одна — на пустой странице, где спрятана чья-то ложь и чья-то смерть. Другая — на середине чужого полёта, где осталась недожитой его собственная жизнь.

И он поймал себя на дикой, стыдной, но твёрдой мысли. Если он распутает эту книгу — чужую, лживую, мёртвую, — то, быть может, наберётся наконец духу вернуться домой. Снять с полки свою. Открыть на закладке. И дочитать — пусть вслух, пусть в пустой комнате, пусть некому, пусть самому себе — до того места, где лётчик уходит в грозу и не возвращается.

Узнать, чем всё кончилось. Хотя чем оно кончилось, он и так знал. Тем же, чем всё кончается. Человек взлетает и не возвращается.

Нева катила навстречу свинцовую воду, как серую бочку, дождь шептал в водосточных трубах что-то настойчивое и невнятное, будто спешил договорить давно позабытую им самим фразу. А Платон Михайлович Рябушинский, сорока двух лет, впервые за долгие месяцы шёл

быстрым, молодым шагом, прижимая к груди мёртвую книгу и думая о живой, оставшейся дома, — и никак не мог согнать с лица неуместную, виноватую, почти счастливую улыбку.

Улыбаться осталось недолго.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.